

Только под вечер дед Наум вернулся домой.

Был он худ и сморщен. Одет в изжеванный пиджачишко защитного, по его мнению, цвета и в линялые, прежде синие брюки, с пузырями на коленях.

Нетвердые шаги довели деда Наума до тумбочки с узорчатой бумажной салфеткой. Она стояла в изголовьи кровати, застланной по-солдатски «конвертом».

Дед привалился к жесткой подушке, подумал вполсилы: сколько годочков ему уже настучало? Пятьдесят пять, угадал правильно. И полулежа отстегнул медали. Поднес их к близоруким глазам, будто уверялся в полной сохранности своих реликвий. «За отвагу». «За боевые заслуги». «За оборону Сталинграда». И ему казалось, что вместо медалей он видит старшину Коркина с разодранным в крике ртом. Видит, как этот крепыш в заляпанных глиной кирзачах вымахнул на бруствер траншеи, замер там на какое-то мгновение и побежал, оскальзываясь, вместе с другими автоматчиками по вспаханному дождем полю. А он, Наум, прильнул к станкачу, наслаивает очередь на очередь и за грохотом пулемета не слышит невнятного бормотания «Юнкерса». Не слышит... И перелом жизни, по самому хребту. Контузия оглушила его, одарила немотой и дрожью пальцев. И, значит, по прибытии домой, в Киренск, ружье на гвоздь, а в тайгу лишь за кедровым орехом.

Со временем речь и слух вернулись к нему. Живи и радуйся! Но как жить, чему радоваться, когда по зловредным языкам растекается молва, что беспрестанная дрожь его пальцев вспоена не взрывной волной, а милашкой-граммуличкой. Обзаведись даже медицинским справочником, не докажешь молве свою правоту: пущена неведомо кем, сила в ней убийная, и излету ей нет. Вот и бубни, принимая стаканчик, про «жизнь огорченную». Даже сегодня, в День Победы, в день рождения своего, когда притертый к графинчику на праздничном столе, он полнил рюмочку, не обошлось без этого. А отвратная же работа — оправдываться, виноватить бомбу и, горячась, под ухмылки и реплики собутыльников реабилитировать сподручицу-белоголовку.

— Я это... с ней накоротке, паря. Не наркомовская норма... это... меня шибает по пальам-гулянцам. А контузия, мать ее!..

— Конечно, контузия, дед Наум. Конечно!.. Если трахнуть разок бутылем по темечку, будет тебе и контузия.

— Ну и дурак ты, Васька! — Дед Наум за рюмку, как за последнюю обойму. А медали его — усердно позванивать, словно вели перебранку с насмешником.— Иди в военкомат. Там тебе майор Степанов растолкует, как справно воевал сержант Гольдин, Наум Давидович.

Васька тыркнул деда Наума в ребро, сказал назидательно:

— Сержант Гольдин, как мне известно из особых источников, справно бегал от фрица. До самой Москвы. Чтобы на октябрьские покружиться на параде. У Сталина на виду.

— Про Сталина не скажу. Чего это ему уличать меня на параде. А вот насчет «бе-гал»... Тебя бы, дуrolома, не на танцы-гуляницы, а туда, в сорок первый.

— Сам сиди там. И не высывайся.

Васька любил представлять себя стратегом, умеющим разбираться в оперативных оплошностях начального периода войны. За эти ошибки он и кроил деда Наума, будто именно он, сержант Гольдин, личной волей своей разоружил старую линию укрепрайонов, передвинул ее к новым границам, к неподготовленным для обороны рубежам, и тем самым дал возможность немцам докатиться до белокаменной.

Дед Наум скорбел от таких слов. Не Главком, пулеметом командовал.

— Смотри сюда, Васька! — Он хлопнул себя по груди.— Вот! Это... «Отвага». Не за красивые глаза, да! Мне ее тогда, в отступлении... А медаль образца сорок первого года... Эх, ма! Не твоя даровая брызгалка — «Двадцать лет Победы...»

Дед Наум гневно подрожал руками у лацкана чужого пиджака. И сорвал бы медальку, родом из 1965 года, если не привитое с измальства уважение к награде.

— Не кипятись, отец.— Васька отвел его руки к графинчику.— Прими стопоря. Полегчает...

Может, и впрямь полегчало деду Науму от привычной рюмочки. Может, полегчало от столь же привычного перезвона медалей. И он, закусив маринованным грибом, повторил:

— Иди в военкомат, дуrolом. Там тебе растолкуют.

— А мы и без военкомата. Здесь. Возьмем да проверим Наума Давидовича.

Васька провел зажелктым от табака пальцем по медалям деда. Но они глухо молчали. Не отзывались переливчатым звоном на странную ласку.

— Ишь ты, здесь,— дед Наум выволокся из внезапного недоумения.— Войну, что ль, организуешь? Ну и Гитлер!

— Войну — не войну. Но маленькое сраженьице гарантирую. Понимаешь...— Васька привлек деда Наума поближе к себе.— К нам, понимаешь, комбинатчикам бытбслужы важнец-бумага пришла. Из Иркутска. Будем шить шубы из собачьего меха.

— Ну и шейте. А сражение твое причем?

— Не допонимаешь! Материала-то нет! Жди его с нарочным. Когда еще прибудет. А план уже спустили. Дошло? Не-а? Да что тут непонятного? Этот «материал» бегаёт по нашим улицам в неограниченном количестве. Бери тулку и устраивай себе великий отстрел собак.

С некоторой брезгливостью дед Наум высвободился от Васькиного захвата.

— Ты это брось! Не на танцах-гулянцах, паря.

— Э-э, выходит, слаб ты на кишку, сержант Гольдин, Наум Давидович.

— Я бывало на медведя ходил.

— А кто у нас не ходил на хозяина? Поговори, так каждый, оказывается, ходил. Включая и безногого Силыча.

— Да ведь это... ноги свои он потом захоронил. Под Берлином. А медведя мы с ним...

— Ладно, отец. Медведя... Чего же ты тогда собак испугался? Блохастые твари, заразу разносят, гигиену нам разрушают. Пристрелить их — это чистый навар для общества.— Васька обернулся к соседу по столу.— Правильно, а? Петро!

— Сто процентов,— отозвался Петр. И тут же, залив свои «сто процентов» горячительным градусом, добавил: — Но не на его двор твои уговоры. Руки у него трясутся.

— Это ты брось! — возмутился дед Наум. — Я на фронте, когда затишье, в снайперы перебирался из максимистов.

— Вот и покажи нам, отец, — горячо сказал Васька, — сержанта Гольдина. Любо посмотреть на него в справном состоянии. А дедом Наумом потчуй посла, за белой-разливной, картошкой в мундире и малосолевой кондевкой.

У Наума Давидовича подсластилось под сердцем. Он себе летуче понравился: этакий живиный, бравонький, легкий на подъем. Встал над столом, уронив вилку с фаянсовой тарелки на пол.

— Ну как?

— Огурчик!

Солнце стлалось у самого горизонта. Полыхающее, высвечивало дальние пятистенники.

Они завернули к Ваське, за ружьями. И направились к стародавней помойной яме, облюбованной бродячими собаками. Как мнилось деду Науму, и собаки должны были воспользоваться выгодой от повсеместного пиршества. Однако не домыслил: отбросов сегодня куда больше, чем обычно. Вот бездомное племя и не растеклось по задворкам, а стягивалось сюда, к мусорной куче, на дурманные запахи.

Васька торкнул деда Наума локтем в бок.

— Сколь ходового материала, а?

Дед Наум, ощущая сосущую пустоту под ребрами, взвел курки. Взгляд его остановился на каком-то чахоточном кобеле.

Но Васька удержал дедовы стволы крепкой рукой кожей.

— Ты на шкуру глаза разуй. На шкуру. А у этой твоей псины — шкуры, как от козла молока. Вон, погляди, правее. Ценная шкура пасется.

— Сучку нельзя! — мотнул головой дед Наум. — Рядом с ней — ишь ты! — сосунки балуют.

— Ты это брось, отец. Сосунков жалеть, доху не кроить.

— Сучку нельзя!

— Э-э, дед Наум, — с сожалением протянул Васька. — Выдохнулся из тебя сержант Гольдин. Слеза в глазу, слюна во рту, в душе маразм да трусость.

— Не шали! Я тебе не мальцы-гулянцы, окстись, пакостник...

Дед Наум вновь поднял двустволку. Притер ее к плечу. Охватил прыгающим пальцем спусковой крючок. Повел ружьем вдоль добротной шкуры, вывел к вопросительно повернутой к нему мордашке. Выцелил зрачок. Но этот зрачок, живой, с материнской теплыню, затянутый мутной поволокой, как бы наплывал, разрастался в озеро, полное добра и света. И мушка отказалась служить, запрыгала, точно контузия, искалечившая его, затронула и ее тоже. Неприятная оморочь окутала его мелким ознобом, предрекая нечто уже знакомое, и оттого страшное. Что? Дед Наум не успел осмыслить это «что», как гуттаперчевые пробки, исчезнувшие из ушей, снова заполняют их, пресекают потявканье щенков и злое урчание облезлого кобеля. Последнее, что он услышал, это:

— В Ташкенте ты воевал, дед Наум, а не...

Выстрела он не услышал. Но увидел, как пламя вырвалось из Васькиного ружья, и мохнатая тунгуска дернула головой, вываливая из расколотого черепа серых мозговых червей вперемежку с кровью.

— Не балуй! — вскричал дед Наум, не слыша собственного голоса.

Тулка, выбитая из рук Васьки старым солдатом, воткнулась стволами в помойную яму. Васька шагнул было к ружью, но, растеряв в резком движении всю свою хмельную отвагу, нерешительно оглянулся. На него угрюмо смотрел сдвоенный зрачок «бельгийки». Дед Наум, бывший сержант Гольдин готов был стрелять.

...В День Победы, в день собственного рожденья, когда весь Киренск в этот вечерний час хороводил в пиршеском раздолье, дед Наум сидел дома один, присло-

няясь к жесткой подушке. Наушники, подвешенные над изголовьем кровати, были для него немые. Хриплому голосу московского диктора не удавалось пробить пробку глухоты.

Дед Наум вновь пристегнул к изжеванному пиджачку, защитного, по его мнению, цвета свои награды и, поднявшись с одеяла верблюжьей шерсти, медленно пошел к двери, так и не услышав желанного перезвона медалей. Пошел на улицу, туда, где в зарождающихся сумерках дожидались его осиротевшие щенки.

А вдогонку, когда он захлопывал за собой дверь, пулеметными строчками ударило из наушников:

*«Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы».*

Но эти пулеметные строчки были выпущены уже после боя, просто ради того, чтобы салютовать победе. И они прошли мимо деда Наума, бывшего сержанта Гольдина, пулеметчика-максимиста.